

Елена
Катишонок

ДЖЕК,
КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ
ДОМ

РОМАН



Самое время!

Елена Катишонок

Джек, который построил дом

«ВЕБКНИГА»

2011

Катишонок Е. А.

Джек, который построил дом / Е. А. Катишонок —
«ВЕБКНИГА», 2011 — (Самое время!)

ISBN 978-5-96-912156-0

Действие новой семейной саги Елены Катишонок начинается в привычном автору городе, откуда простирается в разные уголки мира. Новый Свет – новый век – и попытки героев найти своё место здесь. В семье каждый решает эту задачу, замкнутый в своём одиночестве. Один погружён в работу, другой в прошлое; эмиграция не только сплачивает, но и разобщает. Когда люди расстаются, сохраняются и бережно поддерживаются только подлинные дружбы. Ян Богорад в новой стране старается «найти себя, не потеряв себя». Он приходит в гости к новому приятелю и находит... свою судьбу. Встреча могла состояться пятнадцать лет назад, однако впереди – вся оставшаяся жизнь, счастье сегодняшнего дня. История любви «этих двоих» – и сокрушительная сила материнской любви; наши дни и прошлое; сегодняшние войны – и Вторая мировая война глазами узницы концлагеря и офицера польской Армии Крайовой. Жизненные пути героев пересекаются причудливо и неожиданно, старое поколение уходит и появляется новое. От того, удастся ли сохранить связь между ними, зависит и наша общая историческая память.

ISBN 978-5-96-912156-0

© Катишонок Е. А., 2011

© ВЕБКНИГА, 2011

Содержание

Часть первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Елена Катишонок
Джек, который построил дом

Елена
Катишонок

**ДЖЕК,
КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ
ДОМ**

РОМАН



Художественное электронное издание
Художник – Валерий Калныньш

© Елена Катишонок, 2021

© «Время», 2021

* * *

*...два голоса несутся издалика;
туман луны стекает по стенам;
влюбленных двое обнялись в тумане...
Да, о таких рассказывают нам
шарманки выцветших воспоминаний
и шелестящие сердца старинных книг.
Влюбленные. В мой переулок узкий
они вошли. Мне кажется на миг,
что тихо говорят они по-русски.*

В. Набоков

*Naked and alone we came into exile.
In her dark womb
We did not know our mother's face;
From the prison of her flesh have we come
Into the unspeakable and incommunicable prison
Of this earth.*

Thomas Wolfe

Часть первая

1

В октябре 1988 года семья Хейфец – Богорад получила разрешение на выезд в Израиль – на постоянное место жительства, ПМЖ. Семья состояла из двух человек, матери и сына. Теперь они сидели друг напротив друга и молчали, как люди, присевшие «на дорожку», когда чемоданы давно собраны и только ждут, чтобы их взяли в руки.

Однако до чемоданов, общим числом по два на человека, предстояли более важные дела. Подать заявление на работе, потом... Ян протянул руку и взял со стола бумажку – список обязанностей для отъезжающих. Пробежал глазами, выхватывая куски казенных фраз: ...35 кг на человека... лишение гражданства, 500 руб. ... сдача квартиры... И что-то еще, «нотариально заверенное».

Мать вошла со сковородой.

– Сядь поешь.

После ужина курили вдвоем.

– Это что, всего по тридцать пять?.. – удивилась мать. – А впрочем... – Она обвела комнату взглядом и помолчала. – Везти-то нечего! – И добавила деловито: – Плед надо взять, это чистая шерсть.

В этом вся мать, словно в Америке нечем укрываться. Но возражать ей было нельзя.

– До Америки добраться надо! Говорят, в Италии месяцами людей маринуют. А Вена!.. – рассердилась она.

Тут же сама спохватилась: мол, соседи слышат, хотя кому какое дело, в Израиль они поедут или в Америку. В этом тоже вся мать: кипит, возмущается, потом остынет внезапно, словно воздушный шарик лопнет.

– И в самом деле, – заговорила рассудительно, – соседям только выгода от нашего отъезда: комната. Ксеньке небось и достанется.

Последние слова прозвучали враждебно. Сейчас опять заведется, будто не все равно, кому достанется комната.

В дверь легко постучали.

– Да! – раздраженно крикнула мать, и в приоткрывшуюся щель просунулось лицо только что упомянутой соседки:

– Адочка, у вас подсолнечного масла не найдется? У меня вышло...

– Что за вопрос, Ксюша; конечно!

Мать ринулась на кухню, за ней семенила Ксения, она же Ксюша, Ксюшенька или Ксенька, в зависимости от обстоятельств. Сунув сигареты в карман, Ян вышел на улицу.

Посидеть на любимой скамейке у музея не удалось: она была мокрой от прошедшего дождя. В крупных выпуклых каплях отражался свет фонарей. По тротуару бежала собака, промокшая и жалкая. Покосилась на курившего из-под нависших мокрых косм и потрусилась в сторону кустов. Дождевые капли застыли светлячками на голых ветвях. Облетевшие листья, темные и мокрые, покрывали газон.

Он дошел до угла, где светился киоск. Из одной двери люди выходили с цветами, во втором крыле продавали сигареты, газеты, журналы. Привычная дорога сворачивала на улицу, где жил Саня. Он давно в Израиле, в городе с трудным названием – Ян переписывал его прямо с конверта. За первые четыре месяца пришло два письма, Саня захлеб описывал израильское

бытие – назвать это прозаическим словом «жизнь» язык не поворачивался; но письма давно перестали приходить.

...И как же трудно было представить, что сам он скоро будет писать из Вены.

На работе все прошло гладко – другое время, начальство привыкло к заявлениям «по собственному желанию», хорошо понимая, в чем это желание заключалось. Две положенные по закону недели, не нужные толком ни лаборатории, ни закону, пролетели грустно и бестолково. Завлаб Александр Михайлович, обычно попросту Дядя Саша, сказал коротко: «Держи хвост пистолетом, Янчик. Авось увидимся». Неожиданные слова, усиленные долгой паузой всеобщего недоумения. Никто не предполагал «увидеться», поэтому проводы отъезжающих походили на поминки и случались все чаще. Как можно было «авось» увидеться? Разве что за границей, однако Дядю Сашу даже на конференции не пускали.

Благополучно прошла и поездка в Москву. Мать настаивала, что в голландском посольстве нужно «потереться среди людей, выяснить, как и что». После получения визы Ян, однако, «тереться» не стал, а махнул в Третьяковку.

После сутолочной Москвы квартира встретила тишиной. Как-то само собой получилось, что соседи знали не только про их скорый отъезд, но и про то, что ни в какой Израиль, несмотря на полученную визу, Ада с Яном не собираются. Непонятно, как проведала Ксения – не посредством же одолженного подсолнечного масла, – только знала не она одна – знали все жильцы квартиры. Ксения же первая не выдержала: «Говорят, Ада Натановна, в Америке такого масла не достать... Как же вы будете?» – и протянула купленную бутылку.

Павел Андреевич – самый интеллигентный, по всеобщему признанию, сосед и «переводчик с именем», как уважительно говорила Ада, – кивнул Яну в коридоре: «Так и надо; молодцы». Когда Яник был маленький, ему очень хотелось спросить у «переводчика с именем», кого и, главное, через что Павел Андреевич переводит, но спросить он не успевал – сосед, неумело потрепав его по макушке, скрывался за дверь.

Переводчик занимал с женой и матерью две комнаты, носил толстые усы, целыми днями стучал на машинке и курил трубку, а по вечерам выходил на *променад*. В детстве Яник тоже мечтал о такой трубке и таинственном «променаде». Слово ему нравилось: в нем соединились и лимонад, и мармелад, и что-то, принадлежащее только Павлу Андреевичу, – мама, например, никогда на променад не ходила. Может, там-то Павел Андреевич и переводит, через этот променад?.. Немало времени прошло, прежде чем он узнал, что скрывается за мармеладно-лимонадным словом, да и курить в свое время начал не трубку, а сигареты.

Жена Павла Андреевича работала спортивным тренером и часто бывала в отъезде со своей командой – то сборы, то соревнования. Все хозяйство вела мать «переводчика с именем» – сухощавое длинное лицо, тусклая седая баранка на затылке, постоянный прищур – очков не признавала. Она всем гордо рассказывала, что ее мать была в юности бестужевкой. Информация не произвела на соседей должного впечатления, но кто-то назвал Анну Ермолаевну «бестужевкой», в результате чего стала она Бестужевкой навсегда. С каждым годом старухе было все труднее подниматься на пятый этаж – очереди в магазинах становились длиннее, а сумка с продуктами тяжелее. Вот и сейчас Ян обогнал ее у парадного и выхватил набитую сетку: «Вы не торопитесь, я вперед». Бестужевка всегда растроганно говорила: «Дай тебе Господь здоровья!» – он уже вынимал ключи у дверей, а слова неслись ему вслед, затухая, с первого этажа... В этот раз формула поменялась: «В Америку... Ну, дай тебе Бог здоровья!»

В комнате стояла тишина. Благословенны стены старого дома, не пропускающие кухонной болтовни, соседских голосов, утробных звуков спускаемой воды! Комната, которая бывала шумной, людной, дымной, непривычно опустевшей, – сейчас она была тихой, настороженной.

Комната, где прошла почти вся жизнь Яна.

...Когда мальчик вошел сюда в первый раз, комната была огромна и пуста. На окнах были нарисованы густые белые тучи, кругом валялись газеты. Мама поставила на пол два чемодана. Все было высокое: лестница, по которой поднимались, окно, потолок. «Мы будем жить на пятом этаже», – говорила мама. Яник помнил, что раньше они жили в другой комнате и вообще в другом городе. Запомнился балкон, который уходил далеко, к другой квартире; перила у балкона были высокие, Яник до них не доставал. Если присесть на корточки, то был виден весь двор. Во дворе было много-много веревок, и простыни надувались и летали по воздуху. С ними жила другая мама, только очень толстая и старая. Сам Яник никогда так ее не называл, потому что настоящая мама была на работе. Папа – в том, другом городе был и папа – называл толстую мамой, это Яника сместило. Папа говорил: «Это бабушка, зови ее бабушкой». Но у Яника была другая, *настоящая* бабушка, которая приходила за ним и вела гулять. У нее были теплые руки, он любил тереться о них щекой, когда она помогала ему одеться. Помнил бабушкины платья – светлые, с цветами, и другое, темное и шершавое. Бабушка говорила с толстухой мало, а ему рассказывала удивительные истории. Запомнилась одна, про иголку в яйце, которую надо было сломать, там еще сундук очутился на дереве, а само яйцо засунули в утку. Сундук упал, утка вылетела, за нею бросился селезень... Яник не знал, кто такой селезень, однако без него никак было не достать яйцо с иголкой. Утку было жалко. Селезень этот, наверное, злой. «Надо книжки ему читать!» – сердилась мама.

Новая комната была великанской. Мальчик бегал по расстеленным газетам, потом споткнулся о чемодан и упал. Мама взяла его на руки, но Яник плакал и показывал на окна: «Тучи! Тучи! Хочу солнышко...» Ему было два года. Мама смыла со стекол оставленные малярами «тучи», выбросила газеты с твердыми кляксами известки; начали жить.

...Уедут отсюда тоже с двумя чемоданами – навсегда. Как в два чемодана можно уложить прожитую жизнь? Яна не беспокоило, что ждет его в Америке, потому что знал твердо: все сложится, как в свое время сложилось у дядьки.

Яков, брат Ады, вышел из этой комнаты почти десять лет назад, через два года после смерти их матери. В багаже у него поместился справочник с расчетами, над которым Яков работал несколько лет, а потом столько же времени ждал, чтобы его напечатали; две новые нейлоновые рубашки; несколько семейных фотографий; вылеченный туберкулез; репринты статей; обида – в чем себе не признавался – на почтенного академика, который азартно переманивал его к себе в институт, а потом брезгливо отодвинул заполненную анкету... Сколько весил его чемодан, если прибавить докторскую диссертацию, так и не допущенную к защите? Брось, Яков, увещевали друзья; соблюдай правила игры, все так делают... Завлаб улыбался снисходительно, сроки защиты передвигались все дальше, в размытое светлое будущее. Это было равноценно оплеухе. Написанная диссертация тоже легла в чемодан, рядом с электробритвой, завернутой в «приличные», то есть кримпленовые, брюки. Вторые брюки, «на каждый день», оставались на Якове. В чемодан попала книжка Азимова, обернутая в миллиметровку, – не для развлечения, а для практики в английском... Что еще он увозил? То, что в багаж не положить. Злостный холостяк в тогдашние свои сорок два года, он оставлял позади тоскливые взгляды и слезы женщин, единых в своей горести; оставлял, но не мог не запомнить; а значит, увозил. Прощальные дары, все эти галстуки-запонки-сувениры, скопились на письменном столе, где Яков равнодушно оставил их лежать – не от избытка аксессуаров, а по полному безразличию ко всему, что не касалось его науки.

Зато пришлось выдержать ожесточенную борьбу с сестрой, которая засовывала в его чемодан пижаму – ни одна дама не отважилась бы на такую дерзость.

– За каким чертом?! Я сроду пижамы не носил и носить не собираюсь! – орал Яков. – И кому нужна пижама, скажи на милость?

– А вот я в Кисловодске видела мужчин в пижамах, – уверенно возражала Ада. – Знал бы ты, какую очередь я отстояла!

– Где, в Кисловодске? Посмотреть на идиотов в пижамах?..

– Нет, в универмаге. Люди на лестнице стояли, по две хватали.

– Такие же дуры, как ты! Вон ее, вон! – и швырял заботливо сложенный дефицит.

– И ничего не вон – я зря, что ли, в очереди стояла? В гостинице ходить будешь или... мало ли?

– ...или на интервью, да? Соображаешь?!

Трепыхались полосатые сатиновые рукава, сигаретный дым носился по комнате, накаленная Ада грохнула дверь – выскочила на кухню.

– Да возьми, в Европе выбросишь, – обронил Ян, – ей же обидно.

Вдруг – именно вдруг – он заметил, насколько похожи мать и дядька: лепка лиц, одинаковые темные глаза, сейчас полыхающие гневом, форма бровей. Нарисовать бы...

Злополучная пижама оказалась в чемодане, но не только не была выброшена в Европе, а перелетела через океан.

В Америке быстро оценили нового иммигранта, несмотря на экзотические кримпленовые брюки. Пригодились репринты статей и английский язык, обогащенный чтением Азимова, и, получив работу, Яков превратился в Джейкоба; так ведь Азимов тоже не Айзеком родился. Постепенно Джейкоб-Яша вживался в реалии новой жизни. Первым делом выбросил бесполезную электробритву на 220 вольт, а следом – приличные брюки. После жизни в чопорной западной республике СССР ему стоило немалого мужества надеть шорты и – страшно сказать – выйти в них на улицу, словно на пляж, однако стянутые ремнем брюки со стрелками выглядели слишком экзотично в жарком климате. Купил-таки шорты, надел, вышел – и почти окончательно стал Джейкобом. Однако дома, при непривычном пока кондиционере, ходил в пижаме, снова становясь Яшкой, для которого сестра выстояла чертову эту пижаму в душной очереди – без всякого кондиционера, между прочим. Он звонил домой каждые две недели, говорил с обоими, с сестрой и племянником, и всякий раз собирался сказать – не ей, чтоб не злорадствовала, а Янику – про пижаму, но что-то мешало; потом и вообще забыл. Разговоры были бестолковые, сестра кричала: «Ну как?», а что можно было ответить, кроме: «Вы там как?»

Дура; никогда толком ничего не могла сказать.

2

...Десять лет истекло, как Яков уехал, и долго мешало пространство в комнате, прежде заполненное им: пиджак на спинке стула, далеко отъехавшего от стола, разъявленный портфель, открытые журналы – на письменном столе, на обеденном, у телевизора; разбросанные носки, незастеленная кушетка со сбившейся простыней – словом, все то, что неизменно раздражало Аду, пока брат жил дома. Кушетка теперь стала не нужна, от нее на паркете остался прямоугольник, словно от конверта отклеили марку.

Еще раньше они жили в этой комнате вчетвером.

...После развода Ада решительно избавилась от фамилии мужа и, поручив маленького сынишку матери, приехала из далекого южного города сюда, в столицу братской, но совершенно чужой республики. И в самом деле, решительно все было чужим в этом городе: язык, модно одетые женщины, которым больше подходило слово «дамы»; нарядные, как и дамы, кафе, куда они непринужденно заходили, приветливо улыбаясь друг другу и невнимательно скользя глазами по ней – растерянной, взлохмаченной, в не по сезону теплой одежде. Аду разочаровывало только одно: женщины были одеты во что-то элегантное, но невыразительных цветов: серое, бежевое, пыльно-зеленоватое, как выгоревшая трава. Южанка до мозга костей,

сама она любила яркие, броские кофточки – красную, ярко-оранжевую – с одной и той же синей юбкой. Другой не было.

Красив был город, прямо как на открытке. В апрельское небо устремлялись серые шпили соборов; улицы поражали чистотой, как и магазины, непривычно обильные; встречные мужчины равнодушно смотрели мимо, не оглаживали масляными взглядами, которые там, в родном городе, заставляли сжиматься в комок и спешить домой.

Другая на ее месте заколебалась бы, снова и снова взвешивая все «за» и «против», и не исключено, что погуляла бы по Старому городу да по взморью, по безлюдному весеннему пляжу, наслаждаясь шорохом волн, и... пошла бы назад к электричке сквозь дюны, пошла бы назад не оглядываясь, чтобы не возвращаться сюда больше; ну разве что в отпуск. Однако Ада была Адой, и зряшная эта лирика несколько ее не касалась. Она зорко присматривалась к Городу и скоро убедилась, что многие говорят по-русски, что женщин и даже баб в нем побольше, чем поразивших ее модных дам, а что мужчины на улицах не пристают, так это подарок судьбы.

Жила у дальней родственницы – приискивала работу. С обменом квартиры неожиданно повезло: видимо, кому-то не терпелось поселиться на юге, в то время как Аду тянуло на запад. Это только говорилось так: квартира. В результате обмена Ада получила комнату – одну комнату, но какую! Сорок шесть квадратных метров; окно широченное, в три створки; потолок такой, что хоть арии пой или в баскетбол играй.

Дел хватало, зато деньги таяли, как и радушие троюродной кухни; срочно нужна была работа. Газеты кипели объявлениями – требовались ремонтники, монтажники, сварщики... Четыре года назад Ада получила диплом журналиста, но журналисты здесь, похоже, не требовались.

К середине дня сильно хотелось есть. Она спешила пройти мимо столовых, сворачивала в боковые улочки, кружила по городу, но как нарочно натыкалась на кафе, так поразившие ее воображение в первые дни.

«Булочку с кофе» – решила Ада. Что и говорить, выпечка здесь была вкусная. Медленно жевала, чтобы не съесть булочку слишком быстро, и рассматривала в окно прохожих.

За соседним столиком разговаривали двое мужчин.

– ...и через три месяца ушла в декрет!

– А ты не знал?

– Ни сном ни духом. Никто не знал. Она же новенькая, ну так и...

– Главное, чтобы муж знал.

Оба засмеялись. Потом тот, кто пошутил о муже, сочувственно продолжал:

– И ты теперь без корректора?

– Ну да. Зашиваемся. С улицы, конечно, не возьмешь.

Аду словно подкинуло.

– Вам корректор нужен?

Собеседники уставились на женщину: один выжидательно-настороженно, другой оценивающе. Вот это – не сразу мысленно подобрал слово – фемина! Быстро схватил глазом яркое смуглое лицо с крупным ртом и глубокими темными глазами. Одета кое-как, словно за хлебом выскочила: потертое пальто, немодные туфли, но фигура... Все при ней.

– Нет, вы не подумайте, что я подслушивала! Просто вы говорили громко. А я могу корректором работать.

Говорит как южанка, с экспансивными жестами, подумал первый.

Второй мужчина слегка сдвинул брови:

– Вопросы трудоустройства я решаю на рабочем месте. Так что... – и развел руками.

– Рабочее место – это где?

Такая напористость его рассмешила.

– Предположим, девушка, я вам дам адрес. И что дальше?

Терять Аде было нечего, поэтому не смутилась.

– А ничего, – спокойно согласилась она, – потому что я приду «с улицы», – нарочно передразнила его интонацию, – а «с улицы» вы на работу не берете.

– Будь здоров, – приятель говорившего взглянул на часы и поднялся. «Бой-баба, однако. Коня на скаку...» Он слегка поклонился женщине и вышел.

Коня не коня, но ставку младшего корректора в заводской многотиражке Ада получила. Впрочем, иначе и быть не могло: Ада всегда добивалась того, что хотела. Так было в университете, так она настояла на разводе, несмотря на мольбы мужа, так она получила работу в новом городе – и не где-нибудь, а в редакции, куда «с улицы», как известно, не брали.

Зарплата младшего корректора была под стать должности, то есть мизерная, но Ада и корректором поначалу была никаким. Оказалось, что грамотно писать, увы, недостаточно, а четкое знание принципов соцреализма никого не интересует, потому что корректура текста – особое ремесло. Аду такая мелочь не остановила – она всегда руководствовалась принципом «не боги горшки обжигают». Ее не отстранили от должности, несмотря на профессиональную девственность (если «главный» взял человека на работу – значит, были резоны; не с улицы же), дали справочник и старые гранки для наглядности, и вскоре постулат о горшках и богах подтвердился еще раз.

Не менее настойчиво Ада повела себя в домоуправлении: жилью требовался ремонт. Управдом ссылаясь на смету, перегруженность, на недостаток мастеров и предлагал ей найти кого-то на стороне. Трое маляров – из тех, по-видимому, кого недоставало в штате, – курили в углу на корточках, обсуждая Адины статьи. Говорили они не по-русски, но с одобрительными интонациями.

– Мастеров не хватает? – возмутилась Ада. – А вот эти товарищи, – она показала на куривших, – они не мастера разве? Мне надо потолок побелить и стены, чтобы я ребенка могла привезти в чистую комнату.

Приосанившись, управдом предложил «гражданочке» давать указания не здесь, а там, где она работает.

И получил в ответ:

– У меня в редакции есть кому давать указания. Будьте спокойны!

Быть спокойным управдому не удалось – слова «редакция» боялись многие, и по тому, как он растерянно поправил сползавшие очки, Ада поняла: маляры будут.

Ибо не боги горшки обжигают.

И мать с маленьким Яником приехала в отремонтированную комнату.

Откуда, сердилась Ада, в его голове взялись «тучи» на окнах – она до блеска вымыла стекла после побелки! Хотя что с ребенка взять... Или настоящие тучи заволкли небо, погода была пасмурная?.. Ада хорошо помнила, как мать с Яником вошли прямо с вокзала и замерли на пороге, пока сама она занесла два чемодана.

Жили втроем – ожидали, что вот-вот Яша защитит диплом и приедет. Ада прицельно рассматривала неожиданные хоромы, прикидывая мысленно, как она снова пойдет в домоуправление договариваться, чтобы отделить пространство для брата, вот отсюда досюда стенку поставить. Она мысленно видела перегороденную комнату, этот Яшкин кабинет. Он будет заниматься научной работой, ему нельзя мешать. Если домуправ будет ерепениться – что ж, опять придется сослаться на редакцию.

Правда, брат не торопился переезжать. Прямо в последние недели перед выпуском у него начался бурный роман, и, по словам матери, «шло к женитьбе». Кроме этого, Ада не смогла выжать из нее никаких подробностей – Клара Михайловна была немногословна, так что нельзя было понять, как она относится к перспективе увидеть сына женатым. Яшке – жениться? Ада

негодовала. Брат был на восемь лет младше нее, совсем ребенок, недавний школьник! Кто мог окружить его?.. Этот вопрос занимал ее даже на работе.

Кстати, премудрости корректорской работы она быстро освоила, хоть и оставалась младшим корректором, однако превратиться в старшего не спешила. Куда заманчивей было бы стать репортером и сначала, так уж и быть, писать о новых технологиях, производительности труда, которая неуклонно повышается – того и гляди взлетит в заоблачные выси; об этом писали без ее участия, что Ада считала большим упущением. Создав же портрет очередного ударника, она перешла бы в другую газету – что, разве только заводские многотиражки существуют? Ее призвание – стать настоящим журналистом, а не просиживать над гранками, расставляя дурацкие закорючки и стрелочки. Небожители, творцы газетных статей, частенько заглядывали к «девочкам»-корректорам – анекдот рассказать или выпить кофе, завариваемого в мятой, как солдатский котелок, алюминиевой кастрюльке. То один, то другой нередко мог угостить – или угоститься – сигаретой, стрельнуть десятку до получки. До денежной реформы, о которой никто не подозревал, оставалось два года, и десятка еще не превратилась в рубль. Ада приходила в ужас: она-то думала, что на авторов непрерывно сыплется золотой гонорарный дождь... От авторов, однако, нередко пахло перегаром, брюки лоснились, а ворот пиджака подпирал нестриженные космы. Нет, это не было похоже на золотой дождь.

Непосредственное Адино начальство, старший корректор – сухопарая тетка неопределенного возраста, – оканчивала вечерний полиграфический институт, что в близкой перспективе сулило ей должность редактора. Младшего, разумеется; эта мысль Аду приятно грела. Нет, в полиграфической сфере толку не будет, а диплом у нее, между прочим, университетский.

Правда, бесполезный.

Ох, как Яшка смеялся над ней! «И что, кому твоя журналистика понадобится? Д-дура... Шла бы на приличный факультет! На физику, например. Хотя куда тебе на физику – там голова нужна. В инженеры шла бы, в технологи...» Вот у него голова есть; и что с того? С минуты на минуту его женят!.. Она не допускала мысли, что инициатива могла исходить от брата или быть взаимной, нет: интрига, козни; только так.

Насмешливые слова брата хоть и вызвали бурный протест Ады, с обидой и слезами, но в голове осели. То и дело мелькавшие в гранках слова «новые технологии» тоже сделали свое дело. В самом деле: быт мало-помалу наладился, мать вела хозяйство, присматривала за сынишкой. Не подать ли документы в технический вуз?

Она выбрала специальность «технология производства полимерных материалов». Если бы специальность называлась иначе, например «технология деревообработки» или «новые технологии консервирования рыбы», Ада так же решительно окунулась бы в учебный процесс – она любила учиться. Так было с самого детства, когда отец принес домой книжку по астрономии. Девочка старательно выучила названия планет и созвездий. То же самое продолжалось в школе, в университете – училась ради самого процесса. Так произойдет и впоследствии, на курсах повышения квалификации, которой она пока не овладела вовсе. Но ведь не боги?.. Нет, конечно.

Клара Михайловна выслушала решение дочери, кивнула одобрительно. Вечерние занятия, втайне надеялась она, избавят Аду от одиночества. На вечернем отделении мужчины должны быть серьезные, не пустозвоны. Дочери тридцать скоро, а что с мужем не заладилось, так на нем жизнь не кончается. Ада продолжала говорить, но мысли Клары Михайловны привычно текли сразу по трем направлениям: Янику нездоровится, носик заложен – значит, завтра на рынок не выберешься; сын уже защитился с отличием, однако не спешит ехать, и что там происходит, неведомо. Может, уже женился?..

Яков не женился. Через несколько дней раздался междугородний звонок, и Клара Михайловна услышала: «Мама, я заболел».

3

Бабушка уехала. Через несколько дней мама отвела Яника в детский сад. Он ждал ее до вечера, но мама не пришла, зато появилась тетенька в платочке и повела его в спальню. «Мне домой надо, тетя», – начал Яник, но та перебила: «В субботу пойдешь домой. И никакая я тебе не тетя, запомни. Ложись, вот твоя кровать». Другие дети засмеялись. Они прыгали на кроватях, корчили друг другу страшные рожи, высовывали язык. Тетя-нететя вышла, и мальчики стали дергать Яника за волосы, за уши. Он стоял посреди темноватой спальни и ждал субботы.

Садик был круглосуточный. А что было делать? Мать сказала: «Я уезжаю к Яше». Сколько Ада ни уговаривала подождать, не торопиться, Клара Михайловна молчала, только загибала пальцы, что недоделано: белье замочено – надо выстирать; фасоль готова – сварить суп; Янику гольфы починить, а то резинка сползает... Уложила легкий чемодан – пустого места было гораздо больше, чем вещей, – и помчалась на вокзал.

У брата все так: то бурная любовь, то... туберкулез. Одно хорошо: не женился и сейчас, пожалуй, не до того. Фаселевый суп доварить не хитрость, хоть он и выкипел немного; но что делать с ребенком? После рабочего дня надо мчаться в институт. Две пары лекций – и к десяти домой. Когда ребенком заниматься? Спасибо на работе пошли навстречу – при заводе был свой детсад. И так удобно: круглосуточный! Янику можно посвятить целое воскресенье.

Она представляла, как в субботу вечером уложит его в кроватку. Как утром он проснется и обрадуется, как они неторопливо позавтракают и пойдут гулять, мама с сыном, а потом, если погода улыбнется, поедут на взморье. Как будет вытирать его, пухленького, после купания, вытряхивать песок из сандаликов... Если на улице дождь, она поведет малыша на выставку, в кино, в музей; надо с детства приобщать ребенка к прекрасному.

В субботу выяснилось, что надо перестирать сынишке всю одежду. Кроме того, Ада получила немало замечаний, чтобы не сказать нареканий, на его поведение, самым мягким из которых было «недружелюбный он у вас какой-то, мамочка».

Сынишка только хлюпал носом. Янику больше всего хотелось, чтобы суббота и воскресенье никогда не кончались. Дома было хорошо! По коридору, как и раньше, ходил усатый дядька с трубкой, он останавливал Яника и спрашивал: «Как дела, Пельмень?» Яник сначала не знал, что такое «пельмень» и как надо отвечать. Спросил у бабушки, та засмеялась и объяснила: «Хинкали это. Помнишь, я хинкали делала?»

Вспомнил – и не только хинкали, а какой-то шумный праздник, и как папа громко пел за столом, а мама повторяла: «Не давайте ребенку соус!» Однако сердитая толстая папина мама, ничего не говоря, плюхнула ему на тарелку что-то темное, густое. Было вкусно, только щипало язык; Яник поперхнулся. Папа больше не пел, потому что мама и толстая громко закричали.

Сейчас бабушка поехала к Яше. Наверное, делает ему хинкали, потому что Яша больной. Говорили, что Яша – дядя Яника, потом сказали, что Яша студент. Он приезжал на каникулы, носил Яника на плечах и спрашивал: «Что курим?» То же самое спрашивал у мамы и бабушки. Во рту у Яши торчала папироса. Вечером он прыскался одеколоном и уходил.

...Яник не знал, долго ли отсутствовала бабушка – тогда, в детстве, казалось, что целый год – или полгода, что для трехлетнего ребенка примерно одно и то же – вечность. Эту вечность он проводил в детском саду, неистово ожидая субботы, когда в дверях один за другим появлялись родители и уводили своих детей. Он всегда пропускал момент, когда входила мать, – изо всех сил старался не смотреть в ту сторону, сам себя уговаривая: «Не буду смотреть, не буду, и тогда придет...» И не мог удержаться – бросал украдкой взгляд на белую двухстворчатую дверь. Она долго потом ему снилась, эта дверь.

И когда вселился Яков, тоже не помнил: то ли он приехал вместе с бабушкой, то ли некоторое время спустя. Все говорили о каком-то санатории, который «поставит Яшку на ноги». Янику было смешно. Он представлял себе, как Яша лежит на полу и спрашивает: «Что курим?», а встать не может.

Детский сад кончился, как только появилась бабушка. Не надо было рано просыпаться по понедельникам, и мама больше не дергала его нетерпеливо за руку: «Да шевелись ты!..» Не было садика, большой комнаты, где нянечки расталкивали всех, кто заспался. Не надо было ждать субботы, чтобы прожить дома вечер и такое короткое – раз, и кончилось! – воскресенье. Воспитательницы больше не называли его «букой» и «недружелюбным ребенком». Когда он пробовал присоединиться к игре, дети расходились. Он шел к столику, где лежали стопки тонких затрепанных книжек, среди них страшная: «Мойодоыр», он сразу переворачивал ее вниз обложкой. В книжке была *мамина спальня* – разве у мамы бывает спальня? – а если бывает, то почему там сидит огромный умывальник с жутким именем и гремит тазами, а потом гонится за голым мальчиком?.. Он не успевал испугаться, когда кто-нибудь его толкал или отпихивал: «Уходи, жиртрест!» Яник не знал слова *жиртрест* – может быть, это вроде пельменя? Понял, когда девочка в зеленом платье начала дразнить: «Жирный! Жирный!» Когда было тепло, группу выводили гулять. Во дворе была песочница, где обычно валялись разноцветные формочки. На краю песочницы сидел мальчик и крутил колеса перевернутого вверх дном грузовика, азартно повторяя: «Вжжжх-вжжжх-вжжжх!..» Яник смотрел как замороженный и робко присел неподалеку. «Хочешь? – неожиданно спросил мальчик и, не дожидаясь ответа, сунул Янику машину: – На!» В этот момент Яник стал *дружелюбным*: взял грузовик, но играть от счастья не мог. Он не сводил с нового друга глаз и залез в песочницу, где тот уже возился с совком. Не спрашивая, протянул Янику стопку формочек с теми же словами: «Хочешь? На!» Счастливый день оказался к тому же субботой. Яник уцепился за мамину руку, пока они шли к троллейбусу, и возбужденно повторял: «У меня есть самый лучший друг, он такой!..» – и не находил слов, задыхался от восхищения. «Хорошо, – кивнула мама, – а как его зовут?» Яник растерялся. Помолчал и беспомощно прошептал: «Я не знаю...» Так далеко их дружба не зашла – у него не хватило смелости спросить, как зовут мальчика.

С бабушкой все было по-другому. На смену сказке про сундук на дереве и непонятного селезня пришли таинственные истории про чудовищ – дэвов. Дэв обманывал охотников, уносил и прятал в пещере красавиц, но главное, был огромным. Они шли по улице – то в молочный магазин, то в рыбный, и Яник пытался представить, каким был дэв. «Как вот это дерево?» – спрашивал замороженный мальчик, и Клара Михайловна кивала с улыбкой: да, как это дерево. Он слушал и внезапно прерывал: «А потом пришел другой дэв, больше первого... Он был еще огромней, да? Как наш дом?» – и чуть сильнее сжимал бабушкину руку. Куда уж огромней, соглашалась Клара Михайловна: они как раз подходили к «нашему» дому – пятиэтажной машине, занимавшей почти полквартиры. «Конечно, – думал Яник, – он поборет первого дэва, ведь дом выше дерева. Наверное, первый дэв был жиртрестом...» Он слушал про удивительных щенков, которые раз во много лет рождались у орла. Это были собаки необычайной силы, с орлиными крыльями. Кто сильнее – такой щенок или дэв-жиртрест?..

Он уже давно не был «жиртрестом» – кличка осталась в детском саду, больше никто его так не называл. К первому классу он вырос и похудел, к немалому огорчению бабушки.

Приехал папа. Приезжал он и раньше, но в этот раз привез необычный подарок: школьную форму – серую гимнастерку с брюками, ремень и фуражку.

– Куда ребенок в такой форме пойдет?! – сердито спрашивала мама.

Когда мама говорила о нем, то никогда не называла его по имени, а только «ребенок».

– Ты воображаешь, что здесь *не* Россия? Что форма в школе *другая*? Здесь дети носят синие костюмчики и рубашки с галстуками; ребенок не солдат, а ты что из него делаешь?!.

...Его сделали солдатом гораздо позже, и солдатскую форму он надел привычно, но без чувства *узнавания* той, первой своей школьной, которую подарил отец. Фуражка как фуражка. Ремень как ремень.

...Память о детском счастье – неправильная школьная форма.

...Бабушка ушла на кухню, Яник остался в комнате. Мальчик очень терялся, когда мама с папой спорили, хотя спорила мама, а папа молчал. Он ушел, Яника уложили спать. Он положил рядом новую форму. Ремень пахнул новыми ботинками. Утром он проснулся – костюма не было. Вскочив, увидел... парту, настоящую школьную парту; на сиденье был аккуратно сложен костюм. Яник обрадовался так, что стало трудно дышать, и не сразу заметил, что папиного чемодана нет. Увидел позднее, но в тот момент все затмили форма и парта.

Папа никогда надолго не приезжал.

Яша пришел вечером с работы, потрогал парту, спросил: «Что курим?» Июль подходил к концу.

Хотя Янику пока было только шесть, Ада повела его записывать в школу.

– Директор в отпуску, – предупредила завуч, – я сама проведу собеседование.

В отпуску, надо же; а еще в школе работает... Могу представить это «собеседование», иронически хмыкнула про себя Ада. Да и одета женщина была в открытое свободное платье в цветочках. Слишком легкомысленно для педагога. Ветреная какая-то баба.

– Тебя как зовут? – улыбнулась Янику ветреная баба.

– Яник Богорад, – отчеканил мальчик.

Ада удовлетворенно кивнула.

– Полное имя – Ян?

Он мотнул головой. Завуч повернулась к Аде.

– По метрике – Йоханан. Отцовская причуда, – неохотно сообщила Ада.

Завуч не удивилась экзотическому имени.

– А когда ты родился, знаешь?

– В День Октябрьской революции! – гордо ответил мальчик с трудным именем.

Она улыбнулась.

– И читать уже, наверное, умеешь?

– Умею!

– Каких ты знаешь детских писателей?

«Не возьмут», – испугалась Ада.

– Льва Николаевича Толстого, – выпалил Яник.

– Разве он детский? – удивилась завуч, обмахиваясь тетрадкой. – Что же ты читал, – она снова улыбнулась, – Льва Николаевича Толстого?

Зачем она так издевательски улыбается, мучилась Ада.

– Детский! – упрямо сказал мальчик. – Я читал... Вот: «Акула», «Парус», про льва и собачку... Потом еще, как собаки в Лондоне...

– Хорошо, молодец! А какие ты сказки знаешь?

Он перевел дыхание. Про дэвов... но это бабушка рассказывала, сам он не читал.

– «Сказки народов Севера»! – поспешно выпалил.

– Очень хорошо, – подытожила завуч. Ох, на север бы сейчас, от этого июльского пекла... Скорее бы старая гримза вернулась из отпуска.

– Ступай, подожди маму в коридоре, – улыбнулась она напоследок.

Счастливой Аде сказала, что «хоть и рановато», но мальчика можно зачислить в первый класс.

Приятная какая, растроганно думала Ада на лестнице, и как педагогично провела собеседование!.. А что «в отпуску», так она завуч, а не корректор.

В первом «А» классе, если не во всей школе, Яник оказался белой вороной – точнее, серой – из-за необычной формы. Никто не называл его жиртрестом, однако ребяташки часто задавали вопрос: «Откуда ты приехал?» Учительница не интересовалась – в классном журнале стояло самое распространенное в республике имя, загадочный Йоханан остался где-то в бумагах у завуча.

Новизна первых школьных дней быстро стерлась, остались уроки, то есть рутина. Мальчик отлично считал, читал довольно бегло. Все домашние задания казались пустяковыми, какими, в сущности, и были. Решив примеры и поборовшись с чистописанием, Яник усаживался рисовать. Яша купил ему коробочку с акварельными красками и кисточкой, и мальчик зачарованно смотрел, как прозрачная вода в банке вдруг расцветает на глазах, стоит погрузить кисточку. В альбоме появился пес с распростертыми орлиными крыльями, но мама хмурилась: «Это что, пожар?..» Он нарисовал пожар, и Яша смеялся: «Что у тебя тут, фонтан?» Не смеялась только бабушка.

Ребенку нужно свое место, где бы он делал уроки, спохватилась Ада. Нужна стенка, чтобы отделить часть окна (свет должен падать слева), к окну придвинуть парту... вот сюда кровать... Небольшую полку поставить – учебники, тетради. Другая стена будет отделять ребенка от телевизора, чтобы не отвлекался; брату, как и планировала раньше, стенка даст возможность спокойно заниматься диссертацией. Она, Ада, создаст ему условия для работы – у Яшки будет свой кабинет.

С этими мыслями она отправилась в домоуправление, где когда-то так успешно выбила мастеров-ремонтников.

Управдома не оказалось, а на его месте сидела учительского вида женщина лет сорока. Водя пальцем по разграфленной бумаге, она щелкала костяшками счетов и коротко кивнула на приветствие Ады. Закончив считать, она выслушала все Адины аргументы и решительно ответила: «Исключено». – «Почему?» – вскипела Ада.

Будто ты сама не знаешь, промолчала управдом. Сначала ты раскроишь свою сорокашестиметровую комнату на несколько загонов, а потом обменяешь на отдельную трехкомнатную квартиру; были прецеденты. Для таких, как ты, и существует постановление исполкома: никаких стен. Однако женщина возмутилась, и пришлось показать ей то самое постановление, вот ведь народ настырный.

Редакция, которую Ада вскользь упомянула, не вызвала в управдоме никакой тревоги. «Пишите, – спокойно парировала, – добьетесь разрешения – стройте на здоровье».

Разочарование, досада, злость одолевали Аду. Не в исполкоме дело, а просто баба сидела, у женщин Ада всегда вызывала антагонизм. Если что-то зависело от мужика, она всегда могла добиться желаемого, вот как с работой или с прежним управдомом.

Больше всех уроков Яник любил в школе рисование. Учительница рисовала мелом на доске; нужно было то же самое нарисовать в тетради. Это мог быть дом, елка, цветок. В классе рисовали цветными карандашами, а не красками, и накануне Яша всегда точил ему карандаши. Рисование – это как суббота в детском саду: праздник.

Один раз учительница сказала, чтобы каждый нарисовал что хочет, по желанию. Первоклассники заволновались, поднялся шум, все кричали наперебой: «А машину можно?», «А папу?..», «А белку?..» Медленно проходя между рядами, учительница терпеливо кивала: можно. Что хочешь, то и рисуй.

Яник начал рисовать дерево. Не дэва высотой с дерево, а просто дерево. Вернее, не просто дерево, а яблоню, и чтобы поняли, что рисует он яблоню, а не... пожар. Его дерево должно быть могучим и сильным, и ствол он нарисовал именно таким, толстым и крепким. Он устремлялся вверх, а на вершине росло буйно-красное – карандаш пришлось как следует послушать –

яблоко. Пожалуй, не росло, а лежало: яблоко получилось очень спелое, тяжелое и круглое. Листьев не было, ведь главным было яблоко, а то учительница решит, что это другое дерево; зато в самом низу, у ствола, торчало несколько травинок. Они были желтые, ведь яблоки созревают осенью, когда зеленой травы не бывает.

В это время раздался звонок – такой громкий, что мальчик вздрогнул. Радуюсь, что успел дорисовать яблоню, он положил тетрадь учительнице на стол, хотя жалко было расставаться с рисунком, и побежал на перемену.

Через несколько дней разразилась катастрофа. Яник ждал рисования, и даже цветные карандаши, ровно заточенные Яшей, тоже, казалось, нетерпеливо ждали.

Раздав тетради, учительница остановилась у парты Яника. В руках она держала последнюю тетрадь – его. Неторопливо раскрыла на странице с полыхающим яблоком и, не сводя с мальчика взгляда, медленно процедила:

– Что *это*?

– Дерево, – тихо ответил мальчик и протянул руку к тетради – он соскучился без своего рисунка, – но учительница высоко подняла тетрадь и обратилась к классу:

– Кто скажет, что здесь нарисовано?

Дети смотрели не на рисунок, а на учительницу. Все молчали.

– Давайте спросим у... художника, – последнее слово было произнесено так ядовито, что по классу прошел нерешительный смешок. – Ну, Богорад?

– Это дерево. Яблоня с яблоком... – Яник отвечал очень тихо. Больше всего хотелось, чтобы учительница отдала ему тетрадь.

– «Дерево... яблоко», – безжалостно передразнила учительница. – Художник от слова «худо»... Ты хоть видел, как яблоки растут? Отвечай: видел?!

Первоклассники начали пересмеиваться, смех становился все громче, но учительница никого не останавливала. Сама она не смеялась.

– Без матери в школу не приходи, – процедила сквозь зубы и пошла с тетрадкой к столу. – Так ей и скажи: в школе не место таким, как ты.

Ада ничего не поняла, но по мере приближения к школе хмурилась и сильнее дергала сынишку за руку. «Что ты рисовал, дерево?» – спрашивала в который раз. Яник молча кивал. Он остался в коридоре – в кабинет директора его не пустили. *В школе не место таким, как ты.* Сегодня его выгонят, но... почему дерево не понравилось учительнице? Девочка рядом с ним рисовала дом, у которого на первом этаже была дверь, а все окна и балконы – наверху...

Директор сидела с непроницаемым лицом. Серая тусклая седина, плотные сборки губ, габардиновый костюм. Учительница трясла тетрадкой.

– Вы отдаете себе отчет, *что* он нарисовал?

– Дерево, – хладнокровно ответила Ада, хотя на душе было ох как беспокойно. – Яблоню.

– *Так называемую* яблоню. Я лично таких яблонь не видела.

Директор чуть заметно кивнула.

Ада решительно не понимала, куда она клонит, поэтому ринулась в нападение.

– Ребенок выразил свое восприятие, как всякий художник! И ничего *так называемого* в его рисунке я не вижу. У вас другое мнение?

Она прямо и требовательно смотрела на учительницу. Та скривила губы. Мальчишка – грязный тип, а мамаша – гусыня, больше ничего. Какое тут еще другое мнение...

– В искусстве целое направление существует, если вы не в курсе! – бушевала Ада. – Этот рисунок я собираюсь отправить на выставку.

– Какое направление?.. На какую выставку?!

– На выставку детского рисунка. Наша газета организывает, – Ада протянула руку за тетрадь. На вопрос о направлении в искусстве можно было не отвечать, тем более что никто из присутствующих, включая Аду, о примитивизме не слышал.

Директор опять слегка кивнула – или сделала неуловимое движение головой, которое можно было принять за кивок. Она не произнесла ни слова с самого начала, но стало ясно, что разговор окончен.

Дома вечером тетрадь потрясала Ада – точь-в-точь, как это делала учительница на уроке.

– Что она здесь усмотрела, я не понимаю? Скажи, что?

Она обращалась к брату. Яков с неудовольствием оторвался от телевизора и посмотрел на рисунок: мощный столб, увенчанный красной шишкой; внизу редкая рыжеватая поросль. Сдернул очки, снова надел – и словно прозрел: понял. Открыл было рот – и закрыл: такое не скажешь ни сестре, ни матери, хотя Клара Михайловна тоже смотрела с тревогой. Он отодвинул рисунок и с досадой махнул рукой:

– Э... дура она, твоя учительница!

– Яшка! – укоризненно прошипела Ада, посмотрев на сынишку, забившегося в угол дивана.

– Что Яшка? Дура она, говорю! И ты... тоже дура!

Сестра обидчиво поджала губы. Что от него можно еще услышать, кроме вечного «дура»... Может, и дура, но стратегию выбрала правильную: «наша газета» прозвучало в директорском кабинете очень весомо.

Нашлось Янику место в школе, как ни робел он на следующий день. Его не прогнали; более того, учительница вела себя так, словно ничего не случилось. Уроки рисования продолжались, разве что больше не рисовали кто что хочет, а только что задано. Правда, он и дома перестал рисовать. Акварельные краски в кругленьких ярких лужицах высохли, потускнели и потрескались, альбом он забросил за шкаф.

И в школе, когда учительница трясла тетрадкой, и дома, где мама спрашивала, почему ствол такой толстый и нет листьев, никто не слушал его объяснений. Но разве нужны листья, когда созрели плоды?

Почему разозлилась учительница – вот что было загадкой, которую мальчик решить не мог. Решить могли бы психотерапевты, которых не было в той части света. Но почему ребята смеялись, будто все поняли?..

Боль, обида, недоумение стерлись из памяти – рисунок помнился. Повзрослев, Ян понял, что учительница была просто несчастливой озлобленной женщиной; он не помнил ее имени.

Альбом остался за шкафом.

Школа имела существенное преимущество перед детским садом: она отнимала только полдня, вторая половина принадлежала мальчику. Делать уроки за подаренной отцом партой после того, как только что встал из-за школьной, казалось совсем глупо. Яник привычно раскладывал тетрадки на обеденном столе; со всеми уроками справлялся легко. Настроение падало, когда раскрывал «Родную речь». Хуже всего было со стихами. Он долго боролся с басней «дедушки Крылова» – хоть убей, не мог выучить строчки «*На ель Ворона взгромоздясь*» и «*Вещуньяина с похвал вскружилась голова*». От слова «вещуньяина» на него нападал столбняк, а читать задавали наизусть и «с выражением», как говорила учительница. Стало ясно, что от стихов лучше держаться подальше. «В твоём возрасте я “Робинзона” читала!» – упрекала мать, и в Яниковой голове неведомый Робинзон отправлялся в компанию к «дедушке Крылову». К счастью, никакого «Робинзона» в доме не было.

Мать часто повторяла: «Книжки читать надо!» В библиотеке ему выдали «Судьбу барабанщика» Гайдара. Книжка показалась Янику страшнее, чем слово «вещуньяина». Что-то он читал еще – не страшное, но скучное; не запомнилось.

А потом он перешел в пятый класс. Урок чтения теперь назывался «литературой». Появилась другая учительница, молодая и приветливая. На смену мучителю Крылову пришел

Пушкин. На портрете Пушкин Янику понравился: загорелый, давно не стриженный мальчик подпер щеку рукой, отвернулся к окну – то ли наказали, то ли обиделся. Понравилось, что Пушкин тоже любил сказки. О дэвах няня ему не рассказывала, зато знала про царя Салтана и про мертвую царевну. Потом учительница вслух читала «Бесов» и задала выучить наизусть.

Яник не мог понять, почему дома было так трудно читать. Стихотворение выглядело совсем иначе, словно в строчках бушевала вьюга, но не было ни ямщика, ни надежных коней. Он ходил по комнате, бормоча головомные строчки, которые никак не запоминались, и со страхом ожидал урока. В школу шел обреченно, частичкой души надеясь, что его не вызовут.

Вызвали. Сосед по парте тихонько подвинул ему учебник, но Яник не мог больше смотреть на заколдованные строчки.

– Читай, Богорад, – улыбнулась учительница. – Мы слушаем.

Он перевел дыхание и начал:

– Мчатся тучи, вьются тучи;
“Эй, пошел, ямщик!..” – “Нет мочи:
Невидимкою луна
Коням, барин, тяжело;
Освещает снег летучий –

До конца он не дочитал – все заглушил смех, и некуда было спрятаться от этого смеха, который становился все громче.

– Тихо! – учительница подняла руку. Когда смолк шум, она повернулась к Янику: – Признайся, Богорад: ты нарочно устроил этот балаган?

Она смотрела прямо на него и больше не была приветливой.

– Я не... не балаган...

– А что ты устроил? – она повысила голос. – Зачем ты издевался над Пушкиным?

– Так в учебнике...

Стихи были напечатаны в два столбца. Никто не сказал, что надо сначала прочитать первый столбик, а потом второй, поэтому, заучив строчку первого столбика, он переводил взгляд на второй и проборматывал параллельную строку. Яков хохотал, мать сердилась: «Это же элементарно!»

Двойка по литературе была не последней; выше тройки ему не ставили, как и по другим предметам; кроме математики.

4

– А чего это, тетя Клара, все ваши учатся да учатся? – спросила как-то на кухне Ксения. – Ну, малой-то понятно – без восьми классов никуда; но зачем Аде институт?

У самой Ады спросить она никогда не решилась бы. Ну ее, заполошную, никогда не угадаешь, какое у ней настроение.

– Почему «все»? – Клара Михайловна улыбнулась. – Я вот не учусь.

– Ну, вы вон шить умеете, вам и незачем.

Ксения домывала пол и с удовольствием топталась босыми ногами по чистым просыхающим половицам. Мыла она всегда добросовестно, как мать-покойница учила: руками да на коленках, чтобы в углах грязь не оставалась.

– Не, ну правда. Работа у ней чистая...

Выполоскала половую тряпку, отжала крепкими руками и распялила сушиться на батарее. Вспомнила, как позвала однажды Аду на танцы, намекнув, что можно брата взять – может, он стесняется? Другая бы побежала завиваться, юбку гладить... Какое там! Оборала ни за что

ни про что: «У меня зачет, как вы не понимаете! А брат мой ученый и ни в каких ваших танцах не нуждается!» Ну и сиди дома со своим зачетом, больно надо. Потому небось и мужик бросил – им не больно-то зачеты нужны.

Все они там ученые – зашибись. От Ады только и слышно: «у нас в редакции» да «у нас в институте», зато дом держится не на редакции и не на институте, а на одной тете Кларе, недаром она так высохла. Всех обстирать, комнату убрать, жратву приготовить. И не как другие, чтобы сразу наварить кастрюлю супу да котлет сварганить на неделю, нет: тетя Клара торчит у плиты каждый день. Упаси бог, если разогретое – может, и есть не будут; только свеженькое, с пылу с жару.

– Вы сами, Ксюша, не думаете дальше учиться? – спросила Клара Михайловна.

– Не, тетя Клара, куда мне! ПТУ кончила, разряд у меня есть...

И без Ксюшиного вопроса Клара Михайловна постоянно беспокоилась о дочери. Надежды не сбылись: Ада обрела диплом инженера-технолога, но мужа не нашла, что уж говорить о личном счастье. Хотя счастье – вот оно, одним глазом в тарелку смотрит, другим в журнал. Ест Яник, в отличие от сына, немного, хлеб отламывает маленькими кусочками. Яков – тот всегда как из голодного края: жадно хватает горячие куски, торопливо жует. Это с военного времени, с четырех лет недоедал. Клара Михайловна помнила, как приносила каждый день с работы миску, где в остывшем супе лежала небольшая порция «второго» – ложка пюре или чечевицы и размякшая котлета; можно было незаметно смешать оба блюда и вынести с фабрики. Так делали многие. Дома она разогревала на сковородке принесенный обед, и дети, хлюпая, вылавливали размякшую котлету без запаха и вкуса. Какое было счастье, когда там же, в мисочке, оказывался хлеб! – если она могла удержаться, чтобы не съесть его. Адочка всегда первой клала ложку: «Доедай». А ведь самой-то было сколько – двенадцать, тринадцать? Самый рост... Отдавала брату: старшая. Вот Яшка до сих пор и не научился прилично есть. И почти все – с хлебом. Допьет чай – и к письменному столу: работать, точно не с работы пришел. За него Клара Михайловна не беспокоилась: наука держит крепче, чем бутылка пьяницу. Яше не надо жениться – наука ему жена. Звонили женщины, девушки; он бегал на свидания, но всегда возвращался к своим чертежам и расчетам. Это не просто брак, а брак по любви. В науке Клара Михайловна не разбиралась, но верила, что любовь эта взаимная: сын блестяще защитил одну диссертацию и готовил вторую, докторскую. Только бы здоровья хватило с куревом этим, а то ведь легкие слабые, долго ли хворобе вернуться?..

...Науке соперница только музыка. Мечтал Яков о скрипке, да какая скрипка в войну – выжить бы... А как Ада в консерваторию поступила, так Яшка снова загорелся: скрипку! В одиннадцать лет, сказали, для скрипки поздно; приняли в музучилище на виолончель. Повесит на себя громадину и тащит. Он способный оказался, после музучилища звали в консерваторию, да где там – уехал в Ленинград, в университет.

Оба музыкальные: Ада после школы на вокальное отделение поступила, мечтала в опере петь, однако через два года бросила ради филфака. Счастливая была, пока училась; это Ксюше не объяснить.

У дочери в учебе главное – пятерку получить. Нахватала пятерок, окончила институт... и что? Из редакции уволилась, работает на заводе, в лаборатории, где новые синтетические материалы, что ли, испытывают. И добивается, чтобы на курсы какие-то попасть – квалификацию повысить. Яша смеется: «Вот дура! Ты сначала приобрети квалификацию, потом повышай!» Хоть по разным углам их растаскивай. Пока в институте училась, курить стала. Перед каким-то трудным экзаменом всю ночь не спала – зубрила с сигаретой; экзамен сдала, но курить не бросила. Теперь оба смоят при ребенке. Того и гляди Яник начнет курить – или уже балуется папиросами. Совсем ребенок, хоть и восьмой класс. Так и вырос без отца – тот хорошо если раз-другой в год приедет да звонит по телефону в праздники. За мужика в доме Яша, хотя

какой он мужчина – такой же мальчишка: как засядут в шахматы играть, не сразу поймешь, кто старше...

Клара Михайловна смотрела на дочь с грустным удивлением. Отчего не складывается у нее нормальная жизнь, не сидеть же век с учебниками? Или что-то сложилось, а в дом не приводит? Да только непохоже: беспокойная, дерганая, чуть что – в крик. Хоть бы на заводе среди инженеров нашелся достойный человек... Однако Клара Михайловна помнила, как возлагала когда-то надежды на институт, и вздохнула. Не успеешь оглянуться, как внука пора будет женить.

Яник начал покуривать в седьмом классе. Скоро к нему присоединился Миха – Михеев Алексей по классному журналу и сосед по парте. Миха, тучный неуклюжий мальчик, был типичный «жиртрест» и к тому же очкарик, которого то и дело освобождали от физкультуры. Только Яник знал, что Миха сам себе выписывал освобождение на рецептурных бланках, стопочкой лежавших у матери на столе рядом с перекидным календарем. Трюк легко сходил ему с рук, тем более что фамилия у мамы-доктора была другой. В отличие от Яника учился Миха очень хорошо, но нимало этим не гордился. «Бери пример с Михеева, Богорад», – однообразно напоминали учителя, однако шло к тому, что Михеев начинал брать пример с нерадивого соседа. На уроках он сидел с таким же отсутствующим видом: то ли наполовину дремал, то ли витал где-то далеко. Успеваемость его тем не менее не пострадала, но у Богорада оценки лучше не стали. Сколько раз, бывало, Миха совал ему перед уроком тетрадь: «Скатай, успеешь!» В эти минуты он был удивительно похож на щедрого детсадовского «друга», так и оставшегося в Яниковой памяти безымянным, который отдал ему самосвал.

Яник отказывался. Почему – сам не знал; что-то мешало – как на том уроке, когда Миха придвигал ему учебник с «Бесами».

Миха был единственным, кто тогда не смеялся.

Оба мальчика росли в одинаково несимметричных семьях: отец Алеша Михеева давно оставил мать и жил с новой женой на Дальнем Востоке. Михина мать, как и Ада, домой приходила поздно вечером или не приходила совсем, если в больнице выпадали ночные дежурства. «Мальцу батянка нужен», – бухтела Алешина бабка, обращаясь к холодильнику, духовке или к Яну, когда внука не было рядом. Оказалось, никакая не бабка, а домработница, по совместительству нянька, появившаяся в доме еще до развода родителей. «Маманя писала диссертацию, – пояснил Миха с набитым ртом, – ухо-горло-нос, сиськи-письки-хвост!» Оба захохотали. «В это время родился я», – важно закончил Миха, и это прозвучало еще смешнее.

Яков заменял Яну брата, товарища, был «мужским началом» в семье, но воспринимать его дядей, то есть родственником старшего поколения, мальчик не умел. Разница в восемнадцать лет не убеждала – Ян ее не чувствовал. Этому способствовало отношение матери к Якову. Когда родился брат, орущий младенец Яшенька, ей было восемь лет, и хотя много лет он уже курил, храпел по ночам, успешно занимался сложной наукой и волочился за бабами, он оставался для нее младшим братишкой – вечным ребенком, нуждающимся в присмотре, на которого можно прикрикнуть, чтобы не разбрасывал повсюду свои паршивые носки, сколько раз я буду тебе повторять!.. Яник подрастал; Ада чувствовала себя ответственной за обоих «мальчиков». С годами слово «мальчики» приобрело кокетливое звучание, вызывая недоумение собеседников. Яник этого не замечал, но чувствовал отношение бабушки: для нее все трое были детьми. Двое старших отдавали матери зарплату, и он твердо знал, что когда вырастет, будет поступать так же.

Время от времени приезжал отец. Он останавливался в гостинице, брал Яника в ресторан и гулял с ним по городу. Как-то сказал вдруг: «У тебя сестричка родилась...» Он ждал, наверное, что тот обрадуется, станет расспрашивать... Десятилетний сын интереса не выказал – во всяком случае, внешне.

Почему-то он рассказал Михе о «сестричке», хотя не знал о ней ровно ничего. Тот махнул рукой: «Лажа. Мой папаня тоже размножается». *Лажа* было Михиным любимым словом и обозначало все фальшивое – или не стоящее внимания. «Лажа, – повторил он с нажимом. – Скажи нет?» – «Ну», – кивнул Яник.

Это была формула: на «Скажи нет?» существовал один-единственный ответ: «Ну», подтверждающий полную солидарность.

...Когда Ян был младше, то всякий раз, возвращаясь домой после встречи с отцом, он без всякой причины чувствовал себя виноватым перед мамой. Начиналось это в парадном, до которого отец его провожал. По лестнице Яник шел медленно, подолгу останавливаясь на площадках. На четвертом этаже останавливался, считал плитки, потом неохотно ставил ногу на ступеньку. В дверь тоже не спешил звонить – мать, он знал, распахнет ее сразу: «Наконец-то! Замерз? Иди покушай!» – и кинется целовать его на виду у соседей, стаскивать пальтишко...

Теперь отец все реже звал его детским именем Ганик и домой не провожал – они прощались у гостиницы, потом Ян возвращался домой. Больше не думал, ждет его мать или нет, и виноватым себя не чувствовал, но какая-то несвобода осталась. Если встречал Павла Андреевича, выходявшего на свой променад, охотно присоединялся к нему. Сосед уже не курил трубку – перешел на сигареты, и они медленно шли рядом, подросток и пожилой мужчина с прокуренными усами.

Иногда Яник натыкался на соседа с Яковом, они курили, негромко разговаривая. Чаще всего это происходило по вечерам, потом Яков снова припадал к радиоприемнику, вылавливая сквозь какофонию заглушки «вражьи голоса». Слушал молча, иногда цедил сквозь зубы что-то невнятное. Потом выключал, хватал пиджак, уходил.

...Яник легко затянулся первой сигаретой – так, словно курил давно и привычно. Михе несколько раз давился дымом, потом давиться перестал – и курить тоже. Решительно отвел протянутую пачку: «Не-а, не буду. Потом от рук воняет».

Начиная с пятого класса, всех школьников периодически терзали сочинениями «на свободную тему», которая весьма условно была свободной, как условно осужденный в первую очередь осужденный, и уже поэтому несвободен. Темы варьировались от безобидно-скучной «Как я провел каникулы» до «Человек велик трудом» и «Мечта – могучая сила». Каждый раз Яник терялся, в то время как Алеша Михеев, отрада глаз учительницы, без усилий начинал и первым сдавал тетрадь. Он останавливался время от времени только для того, чтобы, нежно дыхнув на каждое стеклышко, медленно протереть очки. Скашивая глаза в тетрадь Яна, шептал углом губ: «Перед “глядя” запятая, “не может” раздельно», – и снова надевал очки.

Правописание было проклятием Яника. Правила существовали сами по себе, тетрадка расцветала красными учительскими чернилами, вялые тройки к восьмому классу сменились уверенными двойками.

– Мой сын?! – Аду трясло от негодования. Не помогал ее диплом филолога, стаж работы в редакции, знание литературы – ничего. Сыну грозило ПТУ.

– Все потому, что ты мало читаешь! Я в твоём возрасте...

– Ты в моём возрасте «Робинзона» читала, – вспыхнул Ян, – знаю. Слышал.

Чтобы не наговорить лишнего, выбежал из комнаты. Михе прав: лажа, все лажа. В том числе «Робинзон», которым его так часто корила мать. Ян давно прочитал его, взяв у Михи. Книжка оказалась длинной, скучной и угнетающе хозяйственной, с этими робинзоновскими походами с острова на разбитый корабль, откуда он перетаскивал все, на что падал взгляд: авось пригодится. Зачем ему, например, три экземпляра Библии, он же не книжный спекулянт? Или деньги, на необитаемом-то острове? Но перетаскивал. И только когда забрал все, корабль утонул окончательно, а Робинзон, потирая руки, затеял натуральное хозяйство. Как мать могла таким зачитываться?..

Он открыл «Тилья Уленшпигеля». Книга, прекрасная и страшная, прожгла его насквозь. Он вытащил ее дома из секции, где стоял длинный глянцевый ряд «Библиотеки всемирной литературы», наугад, привлеченный необычным названием, и не сразу поставил обратно.

Прочитав, Миха согласился, что «Тиль» – это не лажа. Оценка была высокой. После школы зашли к Михе. Стоял теплый апрель, солнце нагрело подоконник, на котором они сидели. Миха наблюдал, как Ян заштриховывает карандашом горбоносый профиль. Крохотной – в ладонь – странички дешевого блокнота не хватило для фигуры, карандаш только наметил острые плечи.

– Нарисуй Ламме, – подсказал Миха.

– Что, самому слабо? – Ян закрыл блокнот. – У тебя лучше получится.

Мальчики переглянулись, и Миха прыснул. Действительно, рядом с высоким и тощим Яником он удивительно напоминал добродушного толстого фламандца.

Легко и упруго, несмотря на свой вес, Миха спрыгнул с подоконника и взял со стола ватманский листок. Кончик карандаша скользил по бумаге легко, *охотно*, словно твердо знал, чего хочет рука мальчика.

– Держи.

Две мужские фигуры, удаляющиеся по каменистой дороге. Высокий и худой чуть наклонился к маленькому бочкообразному спутнику. Тот повернул голову, слушая. Дорога слегка намечена, только неожиданно четко прорисованы разорванные бусы, оброненные или брошенные кем-то из друзей. «Это зачем?» – удивился Ян. – «Четки».

Рисунок остался у Яна, «Тиль» – у Михи.

Блокнотик Яна, полный странными рисунками, вконец истрепался, пришлось выкинуть. Он вел карандаш, наслаждаясь предощущением рисунка и не зная, чем станет линия – контуром облака или локоном, выбившимся из-под шапочки пробежавшей девушки. Вьющаяся прядь легко переходила в струящийся дым от сигареты, облако скрывалось за каменной стеной. Стена тянулась вдоль улицы, застроенной высокими зданиями, но сама улица на рисунке выходила другой. Тротуар изгибался, уходя в переулок, и открывалась улица, заставленная домами – с черепичными крышами, арками, колоннами. По мере удаления дома становились меньше и превращались в мелкую штриховку. На другом рисунке улица начиналась маленьким, почти игрушечным домишком-кубиком с едва намеченными прорезями окон, за ним шли дома один другого выше – каждый следующий словно нависал над предшествующим. «Классная перспектива», – похвалил Миха.

Ян никогда не знал заранее, каким выйдет на рисунке дом и дом ли это будет или что-то иное, однако рука привычно рисовала улицу за улицей – то знакомые, то ни разу не виденные, возникшие из путаного сна. Иногда он торопливым бледным контуром набрасывал дом и только черепичную крышу вырисовывал очень подробно, причем в кирпичной кладке трубы вдруг оказывалось окно с бликами на стеклах... «Дом Эшера», – понимающе усмехнулся Миха.

Лживая геометрия Эшера Яну не нравилась. Он рисовал иначе. До Михи ему было далеко – тот рисовал давно, много и серьезно, хотя никогда не писал об этом ни в одной «свободной» теме. Потому что школа – это лажа, в отличие от рисования. Все было ясно для Алеши Михеева, прекрасно успевающего по всем предметам: после школы он поступит в художественную академию. Не пройдет с первого раза – поступит через год; он не мог представить, что не поступит.

Из кухни донеслось сердитое гроыхание посуды. Ян подхватил папку.

– Мне пора.

– Давай вместе в академию! – загорелся Миха. – Конкурс будь здоров, это ежу понятно. Рисунок ты сдашь, я уверен...

В слово «рисунок» они вкладывали разный смысл. У Яника сразу оживал в памяти злощастный урок в первом классе, когда учительница трясла его тетрадкой.

По пути домой Ян угрюмо пытался представить себе, как осенью пойдет в ПТУ. Потом работа на заводе. Где, на каком? А, все равно. Все лажа.

Мать решила иначе: никаких ПТУ, любой ценой.

Цена оказалась доступной и даже слишком скромной, если учесть высокую квалификацию репетитора. Нашла ее Ада каким-то сложным путем, не без помощи той самой заводской многотиражки. Анна Матвеевна была дамой лет тридцати с небольшим (или большим), с ровно подстриженными прямыми русыми волосами, всегда одетая в один и тот же серый костюм. Она преподавала литературу в пединституте. Слово «пединститут» заворожило Аду настолько, что ей не пришло в голову поинтересоваться, какую именно литературу преподавала Анна Матвеевна. Непонятно было, что заставило доцента кафедры зарубежной литературы заняться репетиторством, однако Анна Матвеевна взяла Яника в «ежовые рукавицы», как охотно повторяла мать.

Ян этого не почувствовал. Ему понравилась Анна Матвеевна тем, что не была похожа ни на мать, ни на учительницу русского языка – и ни на одного из школьных учителей. «Пушкина! Вы Пушкина с ним пройдите, – встревала Ада, – он не знает русской классики!..» Анна Матвеевна не спорила, вежливо пережидала, но не выражала готовности немедленно заняться Пушкиным. Яну пояснила: «Мы спешить не будем. До Пушкина созреть надо». Наверное, так думала только она, потому что Пушкин изрядно надоел всем незрелым школьникам своей «Барышней-крестьянкой» и лишним человеком Онегиным.

Спокойно, деловито, насыщенно проходили занятия, на которых постепенно начали открываться ему таинства школьной грамматики. То, что становится понятным, перестает пугать, и даже собственные многочисленные ошибки больше не вгоняли в ступор. Он стал замечать некоторое сходство грамматики с алгеброй – правило становилось чем-то вроде формулы. Диктант обрел смысл.

– Проверь сам, – Анна Матвеевна неожиданно вернула листок, – отметь ошибки, которые заметишь... цветным карандашом, любим.

В поисках карандаша он вытряхнул из папки все содержимое. Михин рисунок плавно спланировал на стол.

– Дон Кихот и Санчо Панса? – Анна Матвеевна кивнула на листок.

Так начали говорить о книгах – урывками, короткими фразами; имена запоминались.

Мать всегда твердо знала: что когда следует читать, какой писатель заслуживает интереса; знала все о литературных течениях. Томас Манн был «упадочническим», Оскар Уайльд «аморальным эстетом», Анатолий Франс... «у него слабая композиция, тебе пока рано». Книги для Яна различались цветом обложек и количеством томов. «Библиотека всемирной литературы» представлялась ему общежитием, собравшим под похожими обложками всех уцелевших от материнской классификации – в этом он убедился после «Тиля». Теперь ему хотелось читать по-настоящему, но приближались экзамены, а композиция его собственных сочинений была слабее даже, чем у Анатолия Франса.

Анна Матвеевна помогла Яну побороть страх перед трескучими свободными темами, внушая, что чем бессмысленней звучит название, тем легче наполнить его содержанием. «Как пустой сосуд: ты можешь налить в него лимонад, вино, молоко... воду, наконец». Как и делают многие, подумала с усмешкой. «Главное, – продолжала вслух, – не забудь, что ты наливаешь, не смешивай молоко с пивом». Итог оказался неожиданным: Ян справился с сочинением, удивив и чуть ли не разочаровав школьную учительницу. После сочинения другие предметы были просто лажей. Вместо ПТУ предстоял девятый класс. Занятия с Анной Матвеевной (после сокрушительного успеха с сочинением она превратилась для матери в «Аннушку») прервались на лето.

Начались каникулы. Дачная комната, которую сняла Ада, пустовала днем и оживала к вечеру, когда она приезжала с работы. Яков, всю жизнь высмеивающий пользу свежего воздуха и совершенно равнодушный к дачному отдыху, предпочитал оставаться в городе. Только один раз он примчался вечером и без обычного своего «что курим?» осел на скамейку. Это был август шестьдесят восьмого. «Ты понимаешь, что случилось?» – громким шепотом кричал Яков.

«Случилась» Чехословакия. Ады не было, они вдвоем нависли над «Спидолой». По дороге на станцию Яков непрерывно говорил. «Это как тогда в Венгрии, в пятьдесят шестом. Э-э, ты совсем сопливый был, а я тогда поддерживал наших, представляешь? Я только в институт поступил. И мятеж в Венгрии: коммунистов убивали, звезды на груди у них вырезали, – ну как есть фашисты! Не я один – все такие идиоты были, глотки дерем, никто никого не слышит. И в газетах снимки убитых и наши танки. Вот увидишь: завтра все газеты будут про Чехословакию свистеть, все навалятся». «Нашим... звезды вырезали?» – спросил Ян. «А черт их знает, этих мадяров, – у них своих коммунистов хватало. Сейчас еще больше. Главное – никто ничего не могли, против танка не поперешь...»

Ян открыл газету на следующий день – едва ли не впервые в жизни. Невозможно, да и не нужно, запоминать казенные слова; глаз зацепился только за *беспрепятственное продвижение войск братских стран*, откуда понял, что *навалились* все, как Яков и предсказывал.

В том же августе заболела бабушка – поднялось давление.

Было непривычно, что бабушка могла заболеть – раньше такого не случалось. Участковая врачиха не разрешила вставать. Из ее вопросов Яник с удивлением узнал, что бабушке семьдесят три года. Каждый день приходила толстая медсестра «ставить уколы», как она сама говорила. Ян запомнил красные пухлые руки медсестры с квадратными ногтями. После ее ухода собирал и выбрасывал пустые ампулы. На дачу в том августе он не вернулся: нужно было дождаться медсестру, ходить в магазин. Однажды Яник принес из рыбного небольшой пакет и на вопрос Клары Михайловны гордо сообщил: «Это тунец». Она поднялась и развернула влажную бумагу. Внутри лежали четыре заиндевевших стручка, похожих на кильки. «Все брали... Тунец это», – растерянно повторял Яник. «Не хочется сегодня рыбу делать», – сказала бабушка. «Тунец» был отправлен в морозильник. Яник научился варить рис и жарить картошку.

...Бабушка выздоровела. Слово «давление» снова выплыло на уроках физики, и всегда оно было связано с разбитыми ампулами, пухлыми розовыми руками медсестры и чудным выражением «ставить укол», а бабушке долго было семьдесят три года, словно цифра возраста застыла, как ртуть на разбитом градуснике. Все это прочно связалось с Чехословакией и рыбой под названием «тунец».

Тащились бесконечные школьные дни, но летом снова было взморье, запах нагретых шпал на перроне смешивался с ароматом жасмина. Была та или другая дачная комната, где можно было по утрам поздно валяться на раскладушке или диване, составленном из утробно ноющих пружин, скрытых гор и кратеров с глубокими провалами.

...Клара Михайловна металась между очередями и кухней, чтобы накормить сына и передать еду с Адой на дачу. Мальчик растет, у него впереди два года школы. Тоненький, худющий, особенно рядом с Алешей, крепеньким боровичком.

В хорошую погоду Ян пропадал на море. Ни купание, ни волейбол, ни азартное шлепанье картами не привлекали его. Кто-то шелестел газетами, но газеты на пляже почему-то выглядели совсем нелепо; перелистав, их ставили «шалашиком» над головой и распластывались под солнцем. Ян приходил с книгой и часами лежал, медленно переворачивая страницы и сдувая песок. Иногда поднимал голову: море издали всегда выглядело темнее, чем вблизи. На мокром твердом песке возились и галдели дети, кто-то строил дворцы из песка, как и сам он когда-то любил делать: набирал песочную жижу в горсть и превращал бесформенную струйку, вытекавшую из ладони, в колонну или башню. Пальцы сами знали, сколько песка зачерпнуть и как

быстро донести до нужного места, чтобы расплзавшаяся масса стала крепостью с естественным рвом вокруг, из которого он выгребал новые и новые песочные горсти. Теперь изредка странные замки с туннелями и мостами выходили из-под его карандаша, причем карандаш знал следующую линию лучше его самого.

Приезжая в город, Ян снимал с полки книги, которые запомнились из разговоров с Анной Матвеевной. Прочитал «Кандида», «Дон Кихота». Уайльда, «аморального эстета», начал листать – и поставил на место: после Сервантеса показался несерьезным, однако заинтересовал.

На взморье часто приезжал Миха. Блондин, он быстро обгорал на солнце и ходил с приклеенным на нос листком. К пятнадцати годам его детская тучность сменилась здоровой плотностью. На свежем румяном лице голубели глаза – точь-в-точь летнее безоблачное небо. Время от времени к ним летел мяч, неудачно пасованный кем-то из игроков. Девушки бежали к дюнам, замедляя бег на глубоком сухом песке: «Эй, длинный, кинь мяч!» Они переводили взгляд со смущенного нахмуренного лица Яна на лукавое, со смеющимися голубыми глазами, Михино, крутя и подкидывая мяч в руках: «Мальчики, давайте к нам, а?» – «У меня освобождение от физкультуры», – дурачился Миха.

В школе выдали список литературы, которую нужно было прочесть к девятому классу. В списке значился Достоевский, «Преступление и наказание». Времени до сентября оставалось немного, но Ян медлил и часто закрывал книгу. Роман стал для него настоящим наказанием. Исступленные споры героя с самим собой, разговоры посторонних людей, изнурительно длинные письма, каких никто не пишет – они бы и в конверт не влезли, – однако в романе люди строчат их и шлют, – все это выворачивало ему душу, как плохая еда выворачивает желудок, только вместо облегчения оставляло тупую боль и раздражение. Зачем это все, хотелось ему спросить, но не у матери же...

5

Ян ожидал от девятого класса чего-то нового, но ничего нового не последовало. Лажа, только в больших количествах.

Тройки, тройки... Да что же это такое, недоумевала Ада. Совсем не так она представляла себе сына в средней школе. Ее сын – и троечник! Он должен быть совсем не таким; а раз так, то он и будет другим, не сомневайтесь. Ничем не хуже пузатого очкарика, который трется возле сына. Казалось, очкастому живчику достаются все лавры, предназначенные для ее сына, тогда как Яник остается в тени. Хорош друг, нечего сказать! И глазки голубенькие невинные-невинные, рожа хитрая. Что, разве он умнее?! За сына надо бороться, вот как с русским было: ребенка почти выпихнули в ПТУ, в то время как очкарик пошел бы в девятый класс и не оглянулся. Надо и дальше бороться. Кто позаботится о ребенке, кроме матери?.. Главное, никаких интересов у него нет – у ее сына! Химия, физика – все учебники новенькие, будто только что из типографии, словно не раскрывал. Яшка баламутит, чтобы ребенка оставить в покое – сам, дескать, сориентируется. Держи карман шире. Репетитора надо.

Брат поднял ее на смех:

– Кому?! Д-дура... За каким чертом ему репетитор, он сам кого хочешь натаскать может.

– А тройки по математике почему? – возмущалась Ада. – Почему тройки?

– Да скучно ему! – взорвался брат. – Я с ним решал задачи посложнее, чем в школе задают. Оставь ты парня в покое наконец!

Оставить в покое исключалось. Мать она ребенку или не мать?..

– Он уже не ребенок, он взрослый парень, – урезонивал Яков. – Он скоро по бабам шляться будет, а ты заталдычила: «ребенок, ребенок». Здоровый лоб!

Словно кипятком плеснул. Вот оно что... Может, в этом и дело? Вертихвостка какая-нибудь. Ее сын увлекся, и теперь не до учебы. Не может быть, нет! А если... Так не бывать этому!

Ада втайне гордилась успехами брата в покорении женских сердец. Много баб – лучше, чем одна, потому что Яшка рано или поздно возвращается домой. В то же время мысль о сыне-ловеласе бросала в оторопь. В кого?..

При всей необходимости найти виноватого Ада понимала, что мужа, хоть он уже тринадцать лет ей мужем не был, обвинять в этом нельзя. Тихий, стеснительный, Исаак ухаживал за ней три года, смотрел восхищенно, с обожанием; чуть не на руках носил. А бывало, носил – буквально. Носил бы и посеичас, если бы не свекровь – гадина, гадина! – все могло быть иначе. Гадина, стерва. Помыкала сыновьями – все по струнке ходили, невестки метались по дому с виноватыми лицами. Все, кроме нее: не на такую напали.

Мать ее предупреждала: богатая семья, тебе трудно будет. И вздыхала.

Свекровь оценивающе посмотрела, кивнула: приняла. Как будто Аде не все равно было, примет или нет – она не за старую ведьму замуж выходила.

Молодым выделили комнату на втором этаже дома, но старуха входила часто, неожиданно и без стука – как, впрочем, и во все остальные комнаты. Ада возмущалась, муж улыбался беспомощно: «Не сердись на маму». Ада сердилась не на свекровь – на него: что за бесхребетность? А вдруг она вломится... не вовремя? Молчал, обнимал ласково. По утрам, уже одетый, возвращался от двери и целовал. В одно такое утро старуха – словно в плохой пьесе – уверенной рукой открыла дверь.

При разговоре мужа со свекровью Ада не присутствовала: шадя беременную жену, он вышел за матерью. Ее крики были слышны всему дому – как и все, что делала старая ведьма: ходила, говорила, распекала, с утра до позднего вечера пила чай, в который добавляла пряности. В первые месяцы беременности Аду мутило от висящих в воздухе душных паров корицы, кардамона... что там она еще в свой чай добавляла. Старуха невозмутимо подносила ко рту изогнутый турецкий стакан, напоминающий женскую фигуру, тянула горячий чай. В хрустальной вазе перед ней лежали изюм, урюк, орехи; на блюде лиловели матовые фиги, тускло просвечивал виноград. «Угощайся», – садистка насмешливо шурилась. Ада давилась слюной, выбежала из комнаты. Переехать к матери? Об этом и речи не было. Вернее, речь была, Ада пылко и страстно произнесла ее перед мужем, но тот покачал головой: «Мама обидится». У него дрожал подбородок. Старуха прочно держала семейные вожжи и не собиралась их отпускать.

Когда родился сын, легче не стало. Йоханан, это же надо придумать!.. Откуда взялось это несурзное имя?! «Отцовская причуда», – неохотно поясняла Ада, хотя была уверена, что «причуда» исходит от свекрови. Сама она не могла пойти в загс – с трудом кормила, ребенок плакал. Вот и поплатилась...

И не только имя. Нужна была коляска для ребенка, но именно для коляски не нашлось денег. Деньги тоже были в крепких руках свекрови – сыновья отдавали матери всю зарплату. Старуха сама планировала семейные траты и, надо сказать, была временами щедра: могла подарить невестке-фаворитке золотое кольцо или серьги, отрезать шелка на платье... Ада, младшая невестка, никогда любимицей не была, угодить не старалась, а потому и надежда на милость в виде коляски для малыша была беспочвенной. Старуха покачала головой: «Молодая, крепкая; на руках поносишь». Она говорила по-русски с акцентом и восточной поющей интонацией, и голос плескался, как чай в стакане. Муж отводил глаза. Подбородок у него дрожал. У матери денег не попросишь: брат учился в школе, Клара Михайловна с трудом сводила концы с концами.

Пришлось Аде носить сынишку на руках, что делать. Да ведь ребенка всю жизнь на руках носишь... А потом какая-нибудь вертихвостка, пустышка, ногтя его не стоящая, пальчиком поманит и уведет, вот и награда за твою материнскую любовь!

Ада нечасто вспоминала свекровь, однако сейчас, в мучительных подозрениях о «вертихвостке», впервые задумалась, что, должно быть, именно так и происходило в старухиной жизни: невестки пытались увести сыновей и если бы не ее железная материнская воля и непрекаемый авторитет, увели бы, хоть и вертихвостками не были.

...Сама, наверное, и сегодня сидит в затемненной от жаркого солнца комнате, потягивая огненный темный чай, сладкий как сироп. Одета, как всегда, в просторное шелковое платье с пестрым восточным рисунком; такой же шелковый платок на волосах, иссиня-черных, словно возраст их не коснулся. У матери, ровесницы свекрови, тоже когда-то были черные волосы, давно превратившиеся в седой узел на затылке, как у всех матерей. Однако старуху, потягивающую свой вечный чай, время не тронет, в этом Ада была уверена. Гладкое смуглое лицо без морщинки, такие же гладкие пухлые руки с ямочками там, где у матери выпирают артритные суставы. Вот старуха медленно, лениво протягивает руку, чтобы отщипнуть просвечивающую матовую ягоду винограда с пародийным названием «дамские пальчики». Некогда дочь зажиточных родителей, потом жена небедного мужа, она сохранила, при обильном теле, легкую поступь и гладкое лицо, – в таких семьях женщины не работают. Она перестала быть женой в тридцать восьмом, оставшись с троими сыновьями. Двое старших удачно женились: достоинства невесты – приданое и безоговорочное повиновение свекрови; и только младший сын глубоко разочаровал мать. Если бы бесприданница Ада старалась ей понравиться, лишний раз – а лишнего раза не бывает – угодить, очаровать, может и снискала бы благоволение старухи, ведь не могла та не видеть красоты невестки, влюбленности сына, не могла не порадоваться внуку. Нет, Ада вовсе не старалась понравиться ни свекрови, ни всей новой родне. Более того, не принимала правил большой семьи, а продолжала жить, как жила – заканчивала университет, чем вызывала презрительное удивление старухи, не смягчившееся во время Адиной беременности: что, брюхатых она не видела? Сама троих родила. Родила бы еще, да мужа забрали. Спасибо дети ценят: лучший кусок – матери, совета спросить – у матери, все заработанные деньги тоже матери. Разве жена появляется, когда парень усы брить начинает? Не-е-ет: когда мать позволит.

И вопреки желанию живо представился турецкий чайный стакан (из другого старуха не пила): небольшой, фигурный, в изящном подстаканнике. Глупое, бессмысленное название, как и сам вычурный стакан, и никак не вспоминается, хоть убей... А свекровь вспомнилась из-за мужа. Кто виноват, что у Яника тройки? Ребенок рос фактически без отца, вот и вырос... безынициативный. Всегда букой был; весь в отца. Кто ж еще виноват? Себя ей не в чем было упрекнуть – она отдала сыну всю жизнь, а ведь могла бы свою судьбу устроить, если бы не вкладывала всю душу в ребенка. Не теперь (она покосилась на зеркало), а раньше, когда мужчины поворачивали головы в ее сторону, как подсолнухи к солнцу. Взять хотя бы главного технолога с подшефного завода, который специально в командировки ездил, надо и не надо. Когда понял, что *не надо*, командировки прекратились. А как ухаживать пытался! В ресторан приглашал или по городу погулять. И совсем уже несурзное: «А то, может, в домашней обстановке? Человек я холостой, неизбалованный». Намек на домашнюю обстановку Ада «не услышала», от ресторана наотрез отказалась, а по городу гулять – обращайтесь в экскурсионное бюро. Интеллигентный человек, считала Ада, пригласил бы в театр или на концерт, а то в ресторан...

Обескураженный технолог улыбнулся смущенно и отправился в ближайшуюпельменную вместо вымечтанного вечера в ресторане, за крахмальной скатертью, рядом с этой красивой раздраженной женщиной. Не задел ли он ее чем-то ненароком?.. Оформил следующую командировку, потом еще две или три, после чего приезжать перестал – отпала производственная необходимость.

Ада привыкла видеть его в лаборатории – высокий, всегда свежесбрившийся, будто только что из парикмахерской – когда успел? – он радостно поворачивался на звук ее голоса; Ада хмурила брови, заранее готовясь дать решительный отпор очередному приглашению. Когда

главный технолог перестал приезжать, жизнь на подшефном заводе не остановилась – время от времени появлялись другие командировочные, какие-то две заполошные бабы, одна бестолковой другой; Ада зачем-то с особенной тщательностью пудрилась и красила губы, но главный технолог тут ни при чем, конечно.

Как и человек со странным именем Линард, бывают же такие имена. Тот самый мужчина, который сидел с главным редактором в кафе, куда она забежала за булочкой, а нашла работу. Мужчина рассматривал ее так внимательно, что не сразу стало понятно, кто тут, собственно, главный. Потом, уже в редакции многотиражки, где она с остервенением осваивала азы корректуры, стало известно, что зовут его Линардом: зашел как-то перед обеденным перерывом, и все вдруг заволновались: «Линард!.. Линард идет, девочки!» – и схватились за пудреницы. А что такое, собственно, Линард? Пожилой стилиста.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.